

БОБЫЛЁВА

ДАРЬЯ

НАШ ДВОР



Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б72

Серия «Вьюрки. Книги Дарьи Бобылёвой»
Дизайн обложки: *Юлия Межова*

В оформлении обложки использована
иллюстрация *Татьяны Веряйской*

Бобылёва, Дарья Леонидовна
Б72 Наш двор / Дарья Бобылёва.— Москва: Издательство
АСТ, 2021.— 348, [2] с. (Вьюрки. Книги Дарьи Бобылёвой).

ISBN 978-5-17-135720-7

Кто не слышал в детстве дворовых легенд? Про то, что бабка из квартиры напротив — ведьма, а подвал в старом доме заколочен не просто так. Не подбирай ничего с земли, не заглядывай в старинные зеркала, не серди странных детей, не буди лихо, пока оно тихо дремлет в своей подземной норе, не зови суженого-ряженого и не смотри на небо, когда светит брусвяная луна.

Потому что в этом дворе легенды оживают.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-135720-7

© Дарья Бобылёва, текст, 2021
© Татьяна Веряйская, иллюстрация, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Была у нас во дворе девочка Лида. Всегда приходила, если в классики прыгать начинали. Рассказывала, что нет у нее ни мамы, ни папы, а живет она в подвале. Там хорошо и тепло, темные ходы из подвала идут глубоко-глубоко под город, и по ним приползают к Лиде всякие забавные зверюшки. И кормят ее, приносят кто картофелину, кто хлеба кусочек. Иногда даже и мясо приносят, свеженькое, красное. Лида только не знает чье.

— Сырое? — ужасались другие дети.

— Сырое,— кротко кивала Лида.

В нашем дворе всем было известно, что сырое мясо есть нельзя ни в коем случае, от этого заводятся внутри бычьи цепни и печеночные сосальщики. И горе тому ребенку, который украдкой попробует накрученный для котлет фарш.

Поэтому никого не беспокоило, что Лида сильно пахнет болотной тиной. А еще у нее почему-то не было лица. Только обтянутый глянцевитой кожей слепой овал, который обрамляла завязанная под подбородком шапочка.

Ведь это была такая мелочь по сравнению с тем, что девочке разрешают есть сырое мясо.

Наш двор был довольно большим и располагался как бы на нескольких ярусах: земля в старом центре Москвы от начала времен не лежала спокойно, и все тут бежит то под горку, то в горку. Вверху была булочная, внизу — река, а срединные земли населяли автолюбители, которые настроили там гаражей из проржавевшего листового железа. К гаражам прилепились с разных сторон помойка и детская площадка, а чуть поодаль обитатели площадки организовали голубиное кладбище, нашу особую достопримечательность, о которой еще будет рассказано.

Двор окружали удивительно разномастные дома, расположенные буквой «П». Тут были и величественный дом с мозаикой на фасаде, и уютная сливочно-желтая «сталинка», и здания помоложе — скучные, просто кирпичные, — и спрятавшийся в самой сердцевине двора старинный особнячок, занятый ЖЭКом, и то, что звалось «баракком»: неведомо когда и для каких изначально нужд возведенная четырехэтажка, остроугольная и несимметричная, похожая на изъеденный мышами кусок сыра. В баракке были дощатые полы, и люди обитали там в коммуналках с бесконечными гулками коридорами и общей кухней, где в клубах супового пара скандалили плохо различимые женщины. Барак считался неблагополучной территорией, и детям запрещали туда ходить — особенно с тех пор, как там нашли торс.

Владлена Яковлевна, легчайшая пергаментная старушка, жившая в барачной коммуналке на первом этаже, отправилась однажды ночью «в уборную», как она деликатно выражалась. И там в желтом свете единственной

лампочки обнаружила восседающее на унитазе мужское тело. Точнее, один торс без рук, ног и головы, прекрасно развитый, гладкокожий, словно высеченный из молочного мрамора, — и ярко-алые, влажно поблескивающие раны на месте утраченных частей тела оттеняли его матовую белизну. Торс был так безупречно прекрасен, что Владлена Яковлевна до самого рассвета просидела напротив, застыв в благоговейном созерцании. И только ранним утром, когда к санузлу потянулись остальные обитатели коммуналки, поднялся крик и вызвали милицию.

Милиция увезла торс, и дальнейшая его судьба осталась нам неизвестной. Обсуждая шепотом эту историю, дети из нашего двора нет-нет да и вспоминали рассказы девочки Лиды о том, что подземные звери кормят ее свеженьким красным мясом...

Соль земли

На третьем этаже кирпичного углового дома, который одним боком примыкал к дому с мозаикой на фасаде, а другим — к дому с аркой, жил одинокий Лев Вениаминович. Казалось, что всегда он был немолод, всегда заворачивал длинные жидковатые волосы в «гульку» на затылке и носил шерстяной берет. Мы из года в год не могли понять, чем же он зарабатывает себе на жизнь: Лев Вениаминович то строчил ночами в тетрадах, а потом их выбрасывал, то уезжал на конференцию в Пермь, то целыми неделями не выходил из дома, все время

посвящая чтению книг и, очевидно, размышлениям. Поэтому решено было считать его философом. В холодильнике у него обычно хранились огурец, несколько сморщенных сосисок и крутое яйцо, оставшееся после поездки в Пермь, но Льву Вениаминовичу хватало. Был он, как многие ему подобные созерцатели с «гулькой» под беретом, бессребреником и аскетом и питаться мог буквально святым духом, заедая его огурцом.

Лев Вениаминович жил в своей трехкомнатной квартире-«распашонке» (торцевая, высокие потолки и скрипучий паркет, плесень в ванной) в одиночестве. И никто толком не помнил, откуда он там взялся. Он как будто завелся самостоятельно, как плесень в ванной, и постепенно оброс холостяцким имуществом, завидной библиотекой и огромным количеством бумаг.

Лев Вениаминович всегда был холост и перспективу совместного бытия с другим существом, будь то женщина или, скажем, волнистый попугай, всерьез не рассматривал. Стоит отметить, что одно время рассматривали его самого: в том же подъезде, на седьмом этаже, обитало многочисленное, исключительно женское семейство. Подсчитать точное количество составляющих его сестер, племянниц и дочерей было трудно — как, впрочем, и понять, как они все умещаются в своей «трешке». Все они были друг на друга похожи, особенно глазами — удлинненными, прохладно-зеленоватыми, — все обладали на редкость звонким смехом и гадали на картах. А еще ходили слухи, что они умеют всякое делать — след вынимать, на ветер шептать, зубы заговаривать и даже — о чем в разговорах обычно сообщалось уже совсем беззвучно, одними губами, — возвращать загулявших мужей.

Имена у гадалок были странные — к примеру, старшую, вроде как главную у них, звали Авигея, а внучек ее, которые тогда еще в школу бегали,— Пистимея, Пелагея и Алфея. Учителя поначалу переспрашивали и недоуменно пожимали плечами: разве так сейчас называют? Во дворе гадалок недолюбливали, но у них не было отбоя от желающих узнать — а если слухи верны, то и подправить,— свою судьбу. Причем эти, как полагали соседи, шарлатанки так задурили людям головы, что к ним приходили с дарами, а иногда и с деньгами в конверте. Гадалки, кажется, никаких иных источников дохода не имели, но не бедствовали и ввали так умело, что их предсказания регулярно сбывались.

Так вот, гадалки пытались в свое время взять Льва Вениаминовича в оборот, но ничего не вышло. Он как будто не понял, чего они от него хотят, зачем хихикают при встрече, стреляют русалочьими глазами и угощают эклерами на 23 Февраля. Философ с «гулькой» оказался так девственно-наивен, что впечатленное семейство перестало обхаживать его как перспективного мужчину, но продолжило по-дружески опекать, подкармливать по праздникам и интересоваться его здоровьем.

А здоровье Льва Вениаминовича, как и положено, с годами сдавало. Возможно, теперь-то он уже и не был бы против деятельного присутствия в доме какой-нибудь из гадалок, потому что с хозяйством он не справлялся, а слабеющее тело требовало комфорта. Вот только гадалками он был давно взвешен, измерен и найден ни на что не годным. А может, и сжалились они над ним, пощадили — кто их разберет.

Наконец Лев Вениаминович вышел на пенсию. Он старел и паршивел, «гулька» под беретом превратилась

в совсем уж жалкий узелок, а дыхание от постоянного употребления в пищу сосисок и прочей дряни было несвежим. Плесень, единственная его спутница жизни, разъела стены в ванной и выползла в коридор. Заваленная бумагами квартира пропахла табаком и пылью, к тараканам, которые в нашем дворе водились у всех без исключения, добавились мельчайшие домашние муравьи и пауки, по ванной уже безо всякого стеснения ползали мокрицы. В бессонные ночи Лев Вениаминович слышал, как шуршат за книжными шкапами мыши. Он тщетно расставлял мышеловки, которые при утренних проверках хлопали его по пальцам. После очередной попытки поквитаться с грызунами Лев Вениаминович всякий раз ходил с синими ногтями, а мыши, будто в отместку, лезли вверх, на полки, и грызли книги еще усерднее.

Сил остановить этот медленный распад, привести дом в порядок у Льва Вениаминовича не было. В теплое время года он подолгу сидел на лавочке у подъезда, как будто не хотел возвращаться домой. Гадалки проходили мимо, здоровались и перешучивались с ним по привычке. Позже они сокрушались, что ни одной из них тогда не пришло в голову присмотреться и задуматься.

И вот однажды утром соседи почувствовали запах, источник которого определенно находился за дверью в холостяцкую нору Льва Вениаминовича. В ожидании скрипучего лифта, отказывавшегося перевозить детей и слишком легких женщин, жильцы поводили носами и удивлялись. Так крепко в подъезде не пахло даже после того, как сто тринадцатая квартира полностью выгорела изнутри за одну ночь, а пожарные обнаружили

на пепелище два комплекта человеческих костей — и ни одного черепа.

Наконец соседка философа по лестничной площадке не выдержала и под благовидным предлогом — собралась варить суп, а в доме не оказалось лука,— позвонила в его дверь. Заскрежетал замок, звякнула цепочка, и в щели возникло незнакомое старушечье лицо. Оно, казалось, состояло из одних морщин, многолетний деревенский загар и цепкие прозрачные глазки — такие еще называют лучистыми — делали его миловидным и каким-то неуловимо своим, родным... А от запаха, который густо разлился по лестничной клетке, сосало под ложечкой и слюна закипала во рту — из квартиры одинокого философа отчаянно тянуло свежей сдобой, мясом, соленьями, наваристыми щами, и даже кислый, в нос шибяющий дух домашнего кваса в этом невыносимо аппетитном полотне ароматов тоже присутствовал.

— Кого бог послал? — не снимая цепочки, спросила старушка.

Изумленная соседка залепетала что-то про луковичу, и тут в прихожую вышел сам Лев Вениаминович, порозовевший и округлившийся, с лоснящимися после трапезы губами. Он открыл соседке дверь, пригласил ее, невзирая на вежливые отнекивания, в гостиную и даже попытался развлечь разговором на общие темы, пока старушка хлопотала на кухне. Говорил Лев Вениаминович длинно, витиевато и скучно, как все начитанные, но не избалованные общением люди. Соседка кивала, особенно не вникая,— еще голова разболится,— и смотрела по сторонам. В комнате был порядок, на чисто подметенном полу — пестрый коврик, на столе — самовязаная скатерка, на подоконнике — герань. Все

казалось не просто убранным и вычищенным, а прямо-таки отскобленным от грязи, даже побелевшим в тех местах, которые скоблили особенно рьяно. К ядреному запаху еды примешивался запах хозяйственного мыла, и в голове у соседки внезапно возникло и завертелось самое емкое определение, которым можно было бы сейчас описать квартиру Льва Вениаминовича: «бедненько, но чистенько».

Одинокий философ тем временем рассказывал, как ему повезло найти Агафью Трифоновну, ту самую старушку, которая сейчас дробно топотала за стеной. Ее сватал ему в домоправительницы один из бывших коллег, хорошо осведомленный о непригодности Льва Вениаминовича к быту. Коллега нанял ее сиделкой к своей девятилетней матушке, а та, едва Агафья Трифоновна заступила на работу, возьми да и умри. Не ехать же теперь пожилой женщине обратно в деревню, тем более что она гений, просто гений, и умеет абсолютно все: стирать, клеить обои, квасить капусту, разделывать мясо, а какие она печет пироги!

— Вот такие люди — они настоящие,— убеждал рассеянно кивающую соседку Лев Вениаминович, и голос его подрагивал от восторга.— На них все держится. Мы что! Не пашем, не сеем, к корове не знаем, с какого конца подойти. Зачем мы и нужны-то вообще? Вот вы, я вижу, женщина культурная, интеллигентная.— Соседка кивала, размышляя, не попросить ли листик красиво цветущей герани — или ее нельзя просить, можно только тайком отломить, а то не приживется?..— Вас, извините, если в деревню отправить, в глушь куда-нибудь,— вы же пропадете. Вы же ничего не умеете, чтобы сами, чтобы, знаете, руками... А они на земле спокон

веку, нутром ее чуют, это они народ, понимаете? Простой, настоящий народ...

Наконец вернулась Агафья Трифоновна. Она несла блюдо, накрытое тканой салфеткой, под салфеткой угадывался пышущий сдобным теплом пирог, а поверх нее лежала луковица в блестящей рыжей шелухе.

— Ой, что вы, не надо, заберите...— засмушалась, как полагается культурной женщине, соседка и быстро взяла луковицу.

— Дареное назад не берут,— с притворной строгостью ответила Агафья Трифоновна, поставила блюдо на стол и сдернула салфетку. Пирог оказался уже разрезанным, обильная начинка источала сытный мясной дух.

Соседка была из располневших красавиц и всю жизнь сидела на диетах, питаясь то гречкой, то капустным листом. Она и суп-то собиралась с этой луковицей варить овощной, перетертый в пюре по совету из журналы «Здоровье».

— С солью вкуснее.— Агафья Трифоновна сунула сухую крохотную ручку в карман передника, достала пузырек и от души сыпанула на пирог что-то неожиданное черное.

— Четверговая? — решила блеснуть знаниями о народной кулинарии соседка. Она смутно помнила, что и впрямь существует на свете черная соль, которую готовят как-то на редкость по-народному — запекают по четвергам в лапте с ржаным хлебом или вроде того.

— Земляная. От землицы все родится.

Соседка послушно откусила под внимательным взглядом Агафьи Трифоновны большой кусок пирога. Черная соль имела странный привкус и хрустела на зубах. И такое блаженное тепло сразу разлилось по телу,

что соседке уже не хотелось никуда идти, не хотелось варить постный суп-пюре, эту еду для обмана желудка, а не для радости и насыщения, а хотелось сидеть тут, чувствовать, как тает во рту пирог, в котором тесто как облако, а мясо как первая дичь, что убил Адам для своей Евы, и слушать мудрые присказки настоящей, деревенской Агафьи Трифоновны...

С превеликим трудом заставив себя вернуться домой — ведь нужно было все-таки приготовить ужин, соседка долго еще улыбалась какой-то тайной радости внутри себя, а дареный пирог съела целиком, не оставила супругу ни кусочка.

За зиму Агафья Трифоновна обжила неудобную квартиру одинокого философа. Повсюду появились занавесочки, скатерки, разноцветные горки подушек и лоскутные одеяла. Вместо табака в квартире едко пахло геранью, а курить Лев Вениаминович безропотно отправлялся на лестницу.

К весне Агафья Трифоновна выбралась на улицу и начала творить невиданное. Невиданное с тех времен, когда в окрестностях нашего двора еще торчали деревянные домики, а возле них возились в пыли куры. Трудясь в поте лица и не обращая внимания на любопытных, старушка вскопала в палисаднике у подъезда несколько грядок и устроила небольшой огород — зелень, картошка, морковь. Некоторые в нашем дворе никогда прежде не видели, как еда растет из земли, поэтому огород стал местом паломничества. Тех, кто хватал растения руками, бдительная Агафья Трифоновна гоняла и обливала водой из окна. Смотреть не возбранялось, а от помощи в прополке и рыхлении старушка неизменно отказывалась:

— Сама управлюсь. Земля труд любит.

Многие во дворе считали, что даже если Агафье Трифоновне удастся взрастить на городском суглинке хоть какой-нибудь урожай, плоды ее трудов все равно окажутся несъедобными, если не хуже. Ведь наш двор со всех сторон окружен автомобильными дорогами, а окна приходится мыть несколько раз в год, потому что стекла быстро чернеют от выхлопов. Выше по реке — ТЭЦ, а еще чуть подальше — завод, машиностроительный или металлургический, мы точно так и не поняли. И овощи впитают в себя, точно губка, всю отраву, что носится в воздухе и содержится в почве, все соли тяжелых металлов, радиацию и пары фенола... В разговорах встречались и другие неясные и угрожающие сочетания слов, но мы запомнили только эти. И нам ужасно хотелось попробовать овощи Агафьи Трифоновны — проверить, не засияют ли они ядовито-зеленым светом, если их надкусить, и не запахнет ли гуашью. Именно гуашью, как утверждали взрослые и осторожные обитатели нашего двора, пахнет тихо убивающий человека фенол.

Но нам оставалось только мечтать, потому что Агафья Трифоновна ревностно охраняла свою делянку. Жильцы замечали ее в огороде даже по ночам — под рыжим светом уличного фонаря старушка посыпала чем-то землю, замахиваясь сухой натруженной ручкой, точно сеятель на знаменитой картине.

Лев Вениаминович еще выходил по старой памяти посидеть на лавочке у подъезда и узнать от соседей последние дворовые новости, но делал это все реже. Он заметно растолстел и страдал одышкой, на лоснящемся лице от любого движения выступал пот, и Лев

Вениаминович, утирая его шерстяным беретом, бормотал: «Грехи наши тяжкие». Научился, как видно, от своей домоправительницы.

Всем, кто останавливался у лавочки, Лев Вениаминович рассказывал теперь об одном: о простом и настоящем человеке, на котором земля держится, об Агафье Трифоновне. По двору даже ходили слухи, что девственный философ влюбился, но те, кто их распускал, просто все не так поняли. Конечно, Лев Вениаминович любил Агафью Трифоновну, но платонически, преданно и бескорыстно, как верный пес — за еду.

— Драчёны, калья, крупеня, шанежки, покачаники, трясец, кондюк, талалуй, — полуприкрыв глаза, перечислял он. — Мы и названия-то забыли. Консервы магазинные едим, синтетику носим, бензином дышим. Все искусственное. И сами мы искусственные, оторвались, землю забыли. Рассуждать горазды, а слова все пустые. А Агафья Трифоновна два слова скажет, и оба нужные, главные. Хлеб. Корова. Вот на чем все держится... Соль земли. — И Лев Вениаминович жадно сглатывал.

Без черной соли он уже ничего не ел, даже в чай порывался ее добавить. А потом перестал пить чай и перешел на домашний квас, который можно было солить сколько душе угодно. Вкусная, с земляным привкусом соль хрустела на зубах, за столом напротив сидела Агафья Трифоновна, уместив подбородок на умильно сложенные кулачки. И по всему телу разливалось спокойное счастье. Лев Вениаминович наконец-то был уверен, что живет правильно, не впустую, и для этого ему больше не нужны были ни книги, ни бесплодные умствования. Только бы ощущался во рту привкус черной соли и хлопотала бы где-то рядом Агафья Трифоновна, кормилица.

— Вовек с ней не расплачусь,— вздыхал он потом на лавочке.— Стыдно. И в городе жить стыдно. Деревня нас кормит, трудится, землей живет. А мы только небо коптим и лишнее выдумываем. Машины, рестораны, женщины раскрашенные... Для жизни-то малое нужно. У нас вон ребяташки не знают, как хлеб растет, не видели никогда. Огород им и то в диковинку. А настоящий человек — он труженик. И пашет, и сеет, и свинью заколет, и теленка у коровы примет. Вот это — человек. А мы кто? Стыдно...

И случайному собеседнику действительно становилось стыдно за то, что он горожанин, за то, что ему в целом нравится все городское и лишнее, что он даже, наверное, любит все эти многоэтажные человечьи ульи и пыльные тополя, гул метро и звон трамваев, хочет принимать горячий душ в кафельной ванной и гулять с раскрашенными женщинами по улице Горького. А справной избы и коровы, а лучше двух, которыми жаждет снабдить каждого праздного горожанина Лев Вениаминович, не хочет вовсе. И при мысли о сельской жизни ему первым делом представляется крепкий дух разнообразного навоза. Но всякий горожанин привык безропотно отступать перед признанной деревенской правдой, поэтому собеседник не возражал Льву Вениаминовичу и только поглядывал по сторонам, надеясь побыстрее ускользнуть.

Здоровье Льва Вениаминовича продолжало сдавать. К привычным уже высокому давлению и одышке прибавилась новая напасть: то ли от избытка покачаников с шанежками, то ли от возраста на него стало временами накатывать какое-то странное, трудноописуемое